

Одежда
Мода, идентичность и кризис: как мы создаем
одежду, носим ее и заботимся о ней. Часть первая

ТМ

Линор Горалик —

писательница, художница,
исследовательница моды,
проживающая в Израиле.

Опубликовала ряд романов,
сборников короткой прозы и поэзии,
книг для детей, научно-популярных
работ. Переводит прозу и поэзию
с иврита и английского.
linor.goralik@gmail.com

«Мальчик в кофточке с пуговицами»: вещиментарные ожидания и реальность в пространстве позднесоветской эмиграции 1988–1991 годов

18+

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ)
ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГОРАЛИК
ЛИНОР ДЖУЛИЯ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГОРАЛИК ЛИНОР ДЖУЛИИ

Аннотация

В эссе рассматриваются вопросы, связанные с воспоминаниями последней волны эмигрантов из СССР (1988–1991) об ожиданиях от вестиментарной ситуации в тех местах, где им предстояло жить, и о реальности, с которой им пришлось столкнуться, о причинах, которые, по мнению автора эссе, лежали в основе расхождений между ожиданиями и реальностью, и о том, какие копинговые стратегии использовали ее респонденты и респондентки в тогдашней непростой ситуации. В качестве основы для эссе автор использовала более трехсот свидетельств — ответов на опросы, собранных ею как непосредственно в ходе работы над текстом, так и в ходе работы над другими материалами по близким темам, и глубоких интервью. В первой главе речь идет о специфике позднесоветского вестиментарного языка с точки зрения его отношений с западной модой, — с одной стороны, и с более ранней версией советского вестиментарного языка — с другой. В частности, говорится о том, что в постперестроечной реальности возник, насколько можно судить, новый язык костюма, вызывавший у многих его носителей определенную растерянность: все еще оставаясь советским языком, он с каждым днем становился все плотнее связан с западной модой, какой она была в неизбежно искаженном представлении советских граждан. Во второй части говорится об эмоциональном фоне нарративов, на которые опирается эссе, и о попытках автора проанализировать этот фон как свидетельствующий о способности (по крайней мере, в данном случае) вестиментарного нарратива вызывать к жизни куда более широкий разговор о непроработанных травмах позднесоветской эмиграции — в частности, о травмах, связанных с гендером, идентичностью и социальным статусом. Третья часть являет собой попытку рассказать о сборах в эмиграцию сквозь призму вестиментарного — и, в частности, о провальных попытках моделировать будущие вестиментарные ситуации в новом незнакомом мире. Четвертая часть является своего рода неизбежной хронологической интерлюдией: в ней рассказывается о крайне коротком (иногда продолжительностью в три-четыре недели) доотъездном периоде, когда новый эмигрантский гардероб уже собран и будущий эмигрант получает попытку представляться своему социальному кругу в новых вещах на старом месте, иногда успевая в силу этого преобразования значительно повысить свой социальный статус, частично изменить идентичность и завязать новые отношения. Пятая глава говорит о том, как свежеепеченными эмигрантами воспринималась мода в новой реальности,

как переживалось столкновение с настоящей западной модой, как это влияло на самоощущение приехавших и какая судьба ждала привезенные с собой тщательно собранные вещи. Глава шестая — это попытка понять, в чем заключались причины разрыва между ожидаемой и подлинной вестиментарными реальностями. Седьмая глава показывает копинговые стратегии, к которым прибегали эмигранты, пытаюсь справиться с тяжелыми эмоциями, вызванными персональными вестиментарными кризисами. И наконец, последняя, краткая восьмая глава играет роль послесловия, в котором автор позволяет себе провести некоторые параллели с сегодняшней миграционной ситуацией носителей русского языка и их вестиментарными практиками.

Ключевые слова: одежда в эмиграции; мода позднесоветского периода; повседневный костюм; мода 1980-х годов; советская мода; мода периода застоя; эмиграция из СССР

Муж приехал [в Израиль] в 1980-х. Ему было шесть лет. Пошел в школу. Родители его приехали с четырьмя детьми и уж точно были намерены носить все вещи, которые привезли с собой. Так вот, через сорок лет на пороге своей школы муж встретил женщину, которая была его одноклассницей в первом классе. Он ее не узнал, а она его узнала. И на его удивление сказала: «Конечно! Ты был единственный на всю школу ребенок в кофточке с пуговицами!!!» Она запомнила это на сорок лет. Все были в футболках, а советский ребенок в рубашке!¹

Anna Chirva

...и сейчас, 34 года спустя, я предпочитаю одеваться во многом так, как в 1988 году в СССР. В Израиле я всегда останусь «русским», как бы ни одевался. Когда я приезжаю в Россию, я выгляжу гостем из прошлого, и мне это даже нравится.

Evgeny Ozerov

I. «Ты фея?»:

вестиментарный язык воображаемого «Запада» глазами будущего советского эмигранта — от «языка Вавилонской башни» до «креольского языка»

Среди вещей, привезенных моей семьей в Израиль в 1989 году, было шитое для меня маминой портнихой белое летнее платье — длинное, с ярусной юбкой и короткими рукавами буф. Невозможно передать,

насколько это платье соответствовало моим мечтам о собственном гардеробе — и в то же время не соответствовало повседневной манере одеваться моих четырнадцатилетних израильских сверстниц, носивших в школу джинсы или шорты с футболками-оверсайз и кроссовками. Прекрасно это понимая, я надевала свое белое платье, крупные красные клипсы, красные же бусы и красные туфли-лодочки. «Но здесь так не ходят», — обеспокоенно говорила моя мама, и я упрямо спрашивала: «Но это же красиво?» Мама нехотя соглашалась, что это «красиво», и я пешком отправлялась в школу, расположенную минутах в пятнадцати ходьбы от моего дома. Когда в один из таких дней я проходила мимо детской площадки, мальчик лет четырех, гулявший с мамой, уставился на мое белое платье и спросил на иврите: «Ты фея?» — настолько мой облик был непривычен для беэр-шевского пейзажа тех лет (надо признаться, что в этот момент я почувствовала себя под взглядом его матери не столько феей, сколько в высшей степени неуместно одетой барышней). По дороге ко мне присоединялись подруги — кто-то в джинсовых шортах с футболкой-оверсайз и кроссовках, кто-то (не менее упрямая, чем я!) в белой шелковой блузке с отложным воротничком и шелковых брюках-клеш, купленных в стране исхода на черном рынке или пошитых, как и мое платье, на заказ — специально для того, чтобы приехать «туда», в эмиграцию, с «приличными»², модными, «западными» вещами, созданными в соответствии с выкройками из чудом добытого журнала «Бурда», с трудом добравшегося до нецентральных городов Советского Союза, или с собственными представлениями о западном вестиментарном языке, сформированными на основании модной интуиции и несоветского контента, начавшего просачиваться в годы перестройки за разьедаемый ржавчиной железный занавес. Некоторые из нас, как выяснилось, ждали возможности надеть эти мини-юбки и свитера с вышитыми на них блестящими птицами, эти атласные легинсы и вязаные длинные платья, эти кожаные шорты и черные пальто по много месяцев: «Не трогай, там носить будешь». Мы не собирались терять возможность наконец начать носить это *там* — тем более что общались мы в основном с такими же подростками-эмигрантами, и язык этих вещей (речь о котором пойдет ниже) был в нашей среде хорошо понятен. Они, кричащие о нашей инакости каждому, кто родился или давно жил здесь, в Израиле, в то же время помогали нам распознавать и понимать друг друга.

В апреле 1988 года процедура выезда из СССР была значительно упрощена. Среди прочего это означало, что ряд категорий советских граждан (в первую очередь — так или иначе связанные с еврейством³)

получили шанс при желании и наличии возможностей начать подготавливать документы к выезду из Советского Союза «на постоянное место жительства». Основными направлениями стали США, Европа (в первую очередь Германия, в силу наличия там соответствующих программ абсорбции) и Израиль — локации, где новых эмигрантов ждала социальная среда, использующая условно-европейский (то есть, в понимании эмигрирующих, «западный») вестиментарный код. Процесс подготовки к выезду занимал около года, и первые отъезды случились в конце 1988-го — начале 1989 года. Именно этим и объясняется выбор мною столь узкого временного периода для разговора. Во-первых, если в конце 1988 года люди уже уезжали или готовились к отъезду достаточно массово, а информация о «западном» вестиментарном коде все еще была недостаточной (об этом речь пойдет ниже), то в конце 1991 года, после распада Советского Союза, такой информации стало более чем достаточно, а поездки за границу перестали быть «отъездами навсегда». А во-вторых, я посмею высказать предположение, что в этот период значение костюма и всего, что связано с костюмом в жизни позднесоветского человека, обрело новое измерение.

На мой взгляд, язык периода позднего застоя, продлившегося до прихода к власти Горбачева и объявления им перестройки и гласности, расширивших окно в западную визуальную культуру для массового наблюдателя, был языком в высшей степени выразительным в силу возможности стабильно развиваться под влиянием одних и тех же факторов (таких, как, например, плановая экономика и относительная изоляция от западного мира) на протяжении нескольких десятилетий. Да, Советский Союз в качестве поставщика предоставлял в распоряжение потребителя не слишком много выразительных средств (например, одежды, имевшейся в продаже), и у наивного интерпретатора (скорее воображаемого, чем реального) могло сложиться впечатление, что «в СССР все носили одно и то же». Однако как минимум в крупных городах такая картина была бы далека от правды в огромном числе случаев за счет исключительной нюансированности советского вестиментарного языка, возникавшей в результате множества механизмов: распределения дефицитных товаров среди сотрудников определенных профессиональных институций, творческого потребления (creative consumption), подпольного потребления предметов гардероба (торговля импортными и дефицитными вещами), тайного потребления частных услуг (от портновских до ювелирных и парикмахерских), вестиментарного творчества (шитье, вязание, плетение и другие) — и так далее. Так, например, являясь, по

официальной версии, языком «всеобщего равенства» или, по крайней мере, декларируясь в качестве такового, он позволял тончайшим образом выражать неравенство — неравенство финансовое и статусное, правовое и гендерное, неравенство эстетических позиций и неравенство владения творческими навыками... Тот, кто хорошо разбирался в этом языке, кто был подлинным его носителем, — то есть, кажется, подавляющее большинство городских жителей СССР, — тот прекрасно улавливал все оттенки этого неравенства — системообразующего элемента социальных вестиментарных дискурсов.

Перестройка и связанные с ней новые медийные и контентные практики привели к приоткрытию «двери на запад» — и, разумеется, к значительным и хорошо известным сдвигам в языке позднесоветского костюма. Можно предположить, что одним из результатов этих сдвигов стал рост того, что я назвала бы вестиментарной тревогой, — тревоги, присущей, кажется, участникам любой современной урбанистической культуры и проявляющейся в психологическом дискомфорте, вызванном сомнениями по поводу собственных костюмных практик и их соответствия как персональным задачам носителя, так и нормам окружающего общества и его отдельных социальных страт. Иными словами, прежний язык костюма в СССР в советских городах с приходом перестройки начал переживать стремительные изменения, в рамках которых каждое новое слово, то есть каждый новый элемент костюма и каждая новая вестиментарная практика для многих приобретали, по всей видимости, особую значимость и привлекали особое внимание, поскольку требовали беспрецедентного осмысления и как новые лингвистические единицы, и как составляющие новых контекстов. Безусловно, это значило, что привычные элементы костюма и привычные практики точно так же подвергались переосмыслению и пересмотру, причем не всегда пересмотру со знаком минус (вспомним увлечение некоторыми видами советской униформы и вещами с советской символикой (Бастер 2009)). Иными словами, если позднесоветский костюм был для своих носителей (в обоих смыслах слова) языком комплексным, но в целом хорошо понятным, то костюм перестроечно-позднесоветский (то есть как раз и имеющий прямое отношение к интересующим нас годам) оказался пространством постоянной вестиментарной тревоги, постоянной необходимости учить язык на ходу, осмысляя новые его элементы и встраивая их в уже имеющиеся структуры, — расширяющиеся или, наоборот, стремительно укрепляющиеся. Вестиментарная тревога же, в свою очередь, вызывала повышенное внимание к костюму, собственному и чужому. Как заметила одна из моих

респонденток в ходе опроса, речь о котором пойдет ниже, «[тогда] часто и встречали по одежке, и провожали по одежке, потому что ты и был твоя одежка». Я часто думаю, что вся эта ситуация чем-то напоминала ситуацию, возникшую в тот момент, когда Господь покарал строителей Вавилонской башни: старый язык распался и наступил момент мучительного вслушивания в чужое бормотание или в чужой крик, момент изнурительных попыток хоть как-то понять друг друга в новой, пугающей реальности.

И все-таки приоткрытая «дверь на Запад» — не то же самое, что широко распахнутая дверь. Проникавший в перестроечный СССР несоветский контент с точки зрения моды зачастую не отличался ни высоким качеством, ни высокой репрезентативностью (и этим замечательно перекликался со многими несоветскими предметами костюма, продававшимися в те же годы на вещевых рынках страны). Однако именно он продолжал оставаться для подавляющего большинства уезжающих на ПМЖ (постоянное место жительства) — то есть, попросту, эмигрирующих — граждан единственным источником знаний о западных одежных практиках: за редчайшим исключением, никто из советских эмигрантов не бывал за границей и тем более — за западной границей СССР до своего окончательного разрыва с бывшей Родиной⁴. Если же выезд планировался в государство, контент из которого (или о котором) в СССР не проникал (в достаточной мере — или совсем), представления об ожидающих тебя на новом месте костюмных реалиях могли быть и вовсе расплывчатыми. Через много лет после нашей эмиграции в Израиль, состоявшейся в ноябре 1989 года, моя мама призналась, что до определенного момента полагала, будто в Израиле одеваются приблизительно так, как одевались, скажем для простоты, волхвы на традиционных изображениях. В какой-то мере она оказалась права: приехав в Беэр-Шеву, мы обнаружили, что израильские бедуины, проживающие в Негеве, действительно часто носят традиционную одежду, в основе которой лежит свободное черное платье (абая) для женщин или светлый балахон (галабея) для мужчин; нередко они носят эту одежду и сегодня — особенно представители старших поколений. Приведенный мной пример, при всей своей радикальности, очень показателен: в той или иной мере эмигрантам предстоял отъезд не просто в воображаемый мир, но в мир, одевавшийся воображаемым способом. «Тамошний» вестиментарный язык оказывался в их исполнении «креольским» — выросшим в неволе ломаным языком. Его специфику некоторые советские люди могли иногда обсуждать часами, ему всячески пытались подражать, на овладение им могли тратить порой огромные ресурсы самого разного

рода, — но этот язык, как очень часто выяснялось в самом начале эмиграции, оказывался порождением очень особых обстоятельств, странным подобием подлинного вестиментарного языка «большого мира» — иногда карикатурным, иногда пугающе серьезным, но всегда выдающим чуждое происхождение своего носителя.

II. «Ах, мне бы понимать свою прекрасность!»:

персональные свидетельства

и их эмоциональная окраска

Чтобы попытаться написать это эссе, я пользовалась относительно обширным, как мне кажется, набором персональных свидетельств, любезно предоставленных мне теми, кто эмигрировал из СССР в интересующие меня годы. Как собирались эти свидетельства?

Для начала я провела шесть расширенных интервью с людьми, отправлявшимися в эмиграцию в 1988–1991 годах, получив возможность задать все интересующие меня вопросы (о них речь пойдет ниже) и совместно рассмотреть ряд интересующих меня гипотез. Я исключительно благодарна моим собеседникам. Во-вторых, мне посчастливилось располагать почти ста пятидесятью свидетельствами о вестиментарных практиках 1990 года — эти свидетельства были собраны мной в период написания эссе «Антресоли памяти: воспоминания о костюме 1990 года» (Горалик 2007). Значительная часть этих свидетельств была связана с эмиграцией и сборами в эмиграцию — именно ими я и воспользовалась. И наконец, я позволила себе разместить в своем фейсбуке⁵ опрос из десяти вопросов, посвященных уже конкретно одежде в период эмиграции 1988–1991 годов, и мне посчастливилось получить ответы от ста двадцати шести респондентов. Я задавала десять вопросов и сопровождала их комментарием о том, что «мне очень, очень нужно как можно больше воспоминаний о том, как люди, уезжавшие до распада СССР, собирали вещи в эмиграцию — и что с этими вещами происходило дальше», добавляя, что мои «наводящие вопросы», в соответствии с желанием, «можно использовать, а можно игнорировать». Кроме того, я уточняла, что свидетельства-ответы можно писать в комментарии к посту, а можно — мне в личные сообщения, обеспечивая, таким образом, возможность высказывания для тех, кто не хотел делать такое высказывание публичным (впоследствии этот шаг отлично оправдал себя — я получила более двадцати свидетельств в качестве личных сообщений).

Вот заданные мной десять вопросов. Я старалась строить их так, чтобы попытаться охватить весь спектр интересующих меня тем, при этом давая отвечающим возможность сколько-нибудь свободно следовать за собственными воспоминаниями.

1. Скажите, пожалуйста, в каком году вы уехали?
2. Как вы принимали решение, какую одежду брать в эмиграцию лично для себя?
3. Если вы собирали одежду не только для себя, но и для других, — как вы принимали решения, что брать?
4. Какие ограничения вам мешали, если мешали?
5. Есть ли какие-то особо запомнившиеся вещи, которые решено было взять?
6. Есть ли какие-то особо запомнившиеся вещи, которые решено было оставить?
7. Были ли какие-то вещи, которые вы взяли только из-за sentimentalной ценности?
8. Были ли какие-то вещи, которые вы потом носили постоянно? Почему?
9. Были ли какие-то вещи, которые вы потом не носили? Почему?
10. Храните ли вы сейчас какие-то из привезенных тогда вещей? Носите ли?

Ответы, которые я получила, более чем оправдали мои надежды. Часть из них следовала ходу вопросов, иногда — учитывая и повторяя нумерацию, часть поступала ко мне в виде свободного текста, однако и те и те одинаково плотно соотносились с заданной темой, оказываясь, таким образом, совершенно бесценными для меня как для автора. По ходу этого эссе я буду многократно цитировать моих респондентов в разных контекстах, однако в данный момент мне хотелось бы отметить в первую очередь исключительно высокий эмоциональный фон многих поступавших ко мне свидетельств и сам факт того, что тема, предложенная мной, оказалась в высшей степени триггерной. Иными словами, мои респонденты нередко демонстрировали, насколько мне удастся судить, целый ряд поведенческих паттернов, свидетельствующих, как мне представляется, о том, насколько впечатляющим, запоминающимся, а зачастую и формирующим (на грани травматичного) был для многих свежее испеченных эмигрантов того периода опыт, связанный с необходимостью приспосабливать свои костюмные ожидания (и надежды! — об этом аспекте еще пойдет речь) к реальным костюмным практикам, существующим на новом месте. Среди этих паттернов преобладающими оказались мне три:

1. Склонность к обнаружению дополнительных, расширенных, воспоминаний о собственной эмиграции, берущих начало от вестиментарной темы, но распространяющихся в первую очередь на сюжеты, которые мне бы хотелось охарактеризовать как связанные с идентичностью, субъектностью и вопросами социального статуса в новой стране. Среди прочего ощущение неуместности привезенного с собой гардероба, неподготовленности к вестиментарной ситуации на новом месте, невозможности (что важно!) немедленно приобрести другой гардероб в силу финансовых обстоятельств и вызванной этими факторами социальной и психологической уязвимости зачастую давали в совокупности целый букет травматических переживаний, вестиментарных с точки зрения событийной канвы, но уходящих далеко за пределы вестиментарного с точки зрения содержания. В результате сегодняшний разговор, начинающийся с вестиментарных вопросов, зачастую, в свою очередь, уводит всех собеседников далеко за пределы этого дискурса за очень короткое время.
2. Переживание болезненных и нежелательных эмоций в ходе разговора на предложенную мною тему в силу перечисленных выше факторов. Эмигранты из позднего СССР редко осознают себя как группу, бывшую уязвимой (*vulnerable*) в период своей эмиграции (интересный, на мой взгляд, феномен, заслуживающий отдельного разговора), однако, в моем понимании, уязвимость многих представителей (и особенно представительниц) этой группы зачастую была очень велика (хотя, безусловно, разнилась от страны иммиграции к стране иммиграции и от одной индивидуальной ситуации к другой). Будучи объектом, связанным со множеством крайне острых тем в личной жизни каждого — от телесности до социального статуса и от семейных связей до образования (да будет мне прощено это очевидное, но необходимое здесь высказывание), — одежда в предложенном мной контексте нередко оказывалась катализатором разговора об уязвимостях того времени, пережитых в рамках соответствующего уязвимого статуса опасностях и травмах самого разного рода, их последствиях — и их преодолении.
3. Наблюдающаяся, по признанию некоторых из них, «невозможность остановиться», когда речь идет о разговоре на интересующую нас тему. Непроговоренность воспоминаний об этой эмиграции, отсутствие популярных дискурсов о ее бытовании кажутся всеобщими, и это, судя по всему, порождает необходимость проговаривать события соответствующего периода (в первую очередь — травматические), пользуясь любой зацепкой; костюм же, как говорилось выше,

видимо, играет роль этой зацепки достаточно эффективно, и мои респонденты, — как участвовавшие в онлайн-опросах, так и любезно соглашавшиеся давать мне интервью, — делились информацией еще щедрее, чем я рассчитывала.

Таким образом, к моему изумлению и к моей бесконечной благодарности, каждый раз, когда я заводила разговор о вестиментарных практиках позднесоветской эмиграции (не только в жестко заданной мной рамке «вестиментарных ожиданий и вестиментарной реальности», но и в любом доступном моему воображению изводе этой остро интересующей меня темы), я встречала со стороны своих информантов не просто готовность делиться со мной воспоминаниями, знаниями и историями в превосходящем все мои ожидания объеме, но и яркий, разносторонний эмоциональный отклик, кажущийся мне концептуально и симптоматически важным в рамках данного разговора.

III. «Не ту мы женщину одевали»:

вестиментарные ожидания от новой реальности и подготовка гардероба к эмиграции

Ожидания будущих эмигрантов в рассматриваемый нами период формировались под влиянием факторов, которые можно было бы разделить на две категории: информация о том, как одеваются «там», и конструирование индивидуальных планов о том, в каких ситуациях уезжающему предстоит использовать вывозимый гардероб. При этом подавляющее большинство респондентов свидетельствует о жесткой зависимости от двух общих для всех ограничений, налагаемых советской властью на тех, кому предстоял выезд: с одной стороны — невозможность планировать покупку нового гардероба «там», поскольку позволялось увезти с собой очень небольшую сумму валюты (менее 25 долларов на человека (Руководства 1987–1989)), а с другой стороны — невозможность вывезти большой объем багажа (25 кг на человека, включая ручную кладь (Там же)). Иногда предметы личного гардероба отправляли отдельным грузом, но это случалось реже — здесь вступали в действие и страх за сохранность вещей, и необходимость пользоваться ими немедленно по прибытии в новую страну. Таким образом, вещи были штучными: с собой бралось либо то, что, по мнению уезжающих, идеально подходило для будущей жизни в эмиграции, либо то, что имело безусловную и совсем уж особую сентиментальную ценность.

«Покупалось все „западное“ и „модное“. Ну, то, что казалось нам „западным“ и „модным“, а не то, что таковым оказалось потом, как выяснилось» (К.Л.). И если о проблемах с информацией о реальной «тамошней» моде выше было сказано довольно много, то на попытках сконструировать предстоящие отъезжающему бытовые или социальные ситуации, в которых гардероб должен будет выручать своих хозяйку или хозяина, стоит остановиться отдельно. Два перекликающихся свидетельства хорошо описывают спектр ситуаций, в которых, кажется, пришлось оказаться многим новым эмигрантам: «Жизнь готовила меня к учебе в институте в мои восемнадцать лет, но не к тому, что в моих нарядах мне предстоит мыть полы» (Alina Chebotarev⁶) и «Все мои представления о судьбе эмигранта готовили меня к мытью чужих полов, но к тому, что я сразу устраюсь медицинской секретаршей в очень приличную клинику в Огайо и мне надо будет каждый день ходить на работу в чем-то другом, она меня не готовила! Носить мне первые два месяца было просто нечего, мы с подругами неистово менялись...» (Iren). Еще одна моя респондентка призналась, что собирала свой гардероб, пытаясь ориентироваться именно на ситуации, в которых ей предстояло оказаться, — но эти представления постоянно натывались на отсутствие информации о том, как эти самые ситуации могут возникать и развиваться: «Учеба, работа, например, свидание... Но как устроен рабочий день или куда, например, ходят на свидание, или, например, оно на улице протекает? Вот я тут, вот я тут, а дальше я где?» (Lia K.). В результате, по ее собственному признанию, она оказалась «не готова ни к чему, — и это при том, что меня одевали лучше всех, а потом оказалось, что не ту мы женщину одевали!».

Последнее замечание кажется особенно важным — и обнажившим впоследствии перед автором целый пласт вестиментарных практик, связанный, видимо, с особенностями не столько вестиментарного, сколько гендерного устройства некоторой прослойки советского общества. Сразу несколько респонденток, эмигрировавших в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, упомянули, что основные ресурсы, которые уезжающая на ПМЖ семья была тогда готова потратить на приобретение предметов гардероба, шли именно на их одежду: «Я ж была девушкой на выданье, меня и одевали» (Lia K.). Эта логика полностью расходилась с логикой приобретения гардероба в «западной» семье, где в первую очередь гардероб приобретался для работающей матери (а тем более — для матери, которой, очевидным образом, предстояло искать работу), в то время как предполагалось, что девушку-подростка этого возраста не стоит слишком

баловать в вестиментарном плане и что на все особенно желанные и модные обновки в идеале она должна зарабатывать сама. Инверсированная семейная логика эмигрантов из бывшего СССР смущала, как выяснилось впоследствии, многих наблюдателей (и в первую очередь — наблюдательниц) из местного населения: приезжавшие девушки-подростки были не просто одеты среди прочего слишком по-взрослому — они зачастую были одеты слишком хорошо по сравнению с собственными матерями. Таким образом, гардероб сразу двух поколений женщин из эмигрантской среды оказывался плохо подготовленным к новой жизни по еще одному, довольно неожиданному, параметру, и даже бытовавшая еще в прошлой жизни практика обмена одеждой между многими матерями и дочерьми (а иногда и бабушками) не всегда исправляла эту ситуацию, поскольку сама ситуация продолжала еще долгое время оставаться неочевидной для оказавшихся в ней женщин.

Так или иначе, проблема сборов предотъездного гардероба стояла перед большинством будущих эмигрантов очень остро не только из-за поставленных советской властью материальных и физических ограничений: сами эмигранты зачастую остро чувствовали, что не понимают, как перевести свои представления о «тамошней» реальности на язык вестиментарных высказываний, на язык предметов костюма и образов. В результате собранный в дорогу багаж нередко представлял собой либо хаотический набор вещей («хватали все модное, что могли схватить» (Виталий Кацов)), либо тщательно выстроенный гардероб, релевантность которого, как будет показано ниже, оказалась на поверку очень и очень относительной.

IV. «Состоятельная модница»:

предотъездное бытование «эмиграционного» гардероба

«На месяц [я] превратилась в „состоятельную модницу“ и была в восторге» (Anna Talisman). Это — не единственное высказывание, иллюстрирующее как феномен, который я позволю себе назвать «предотъездным шиком», так и отношение многих моих респонденток и респондентов к этому феномену. Для очень многих будущих эмигрантов период, когда новый, модный, «западный» гардероб был уже приобретен, а время до отъезда еще оставалось, стал совершенно особым периодом жизни, до сих пор вспоминаемым с большим теплом и неменьшим интересом. Это, судя по всему, можно объяснить как минимум тремя фактами.

1. Период «предотъездного шика» очень сильно отличался для многих уезжающих от практически всей их предыдущей сознательной жизни с точки зрения вестиментарных возможностей. Новый гардероб, приобретенный ценой огромных усилий (прилагаемых зачастую не только самими уезжающими, но и их расширенной семьей, — не только в плане доставания и приобретения вещей, но и в плане добывания необходимых для этого финансовых ресурсов), нередко оказывался первым масштабным набором по-настоящему модных вещей, поступавших в распоряжение их обладателя.
2. Это зачастую производило сильное впечатление на обладателя с точки зрения самовосприятия и касалось нового взгляда на собственную внешность, переоткрывания и перестраивания собственного имиджа и даже изменений с телесностью («В свои тридцать два года я впервые оказалась по-человечески одета — и вдруг мне стали оказывать знаки внимания как привлекательной женщине!» (Мария)).
3. Последствием таких изменений (и, возможно, вызванных ими сознательных и бессознательных изменений в поведении) стало нередко наблюдавшееся изменение в социальном статусе носителя новых вещей среди представителей ближнего социального круга. («Мы с мамой получили с этого два китайских пуховика — зеленый и голубой. В нашем городе это был писк, который невозможно сейчас даже вообразить. Так вот, на меня стали иначе смотреть не только на улице в этом зеленом пуховике, но и среди друзей. Я за четыре месяца успела прокрутить два романа» (Т.)), — что, в свою очередь, возвращает нас к пункту 2.

К сожалению, прекрасный период «предотъездного шика» был обречен довольно быстро завершиться, — однако хочется надеяться, что многим эмигрантам он придал некоторое количество сил и уверенности в себе, позволивших вынести тяготы, ждавшие их впереди.

V. «Выгляжу как сумасшедшая»:

переживание «вестиментарной неадекватности» в постэмиграционный период

С собой два чемодана. Пересехав границу, раскрыли один чемодан и, посмотрев вокруг, со вздохом выкинули.

Второй выкинули, не раскрывая.

Макс Кучинский

«Я помню, что я собирала свой гардероб по крупицам из более или менее иностранных шмоток, привезенных из ГДР или Чехословакии.

Также был и наш самопал (если кто-то еще помнит это слово). А еще мы покупали ткани и шили на заказ, как в журнале „Бурда“. Как краситься и как стричься, я смотрела в журнале „Ровесник“ и ждала его каждый месяц. Мы приехали в Израиль в июле. Из того, что я вообще могла надеть, чтобы не чувствовать себя посмешищем, у меня были цветные кроссовки, купленные за дикие деньги на рынке, и купальник. Я помню, как пошла на день рождения и надела сшитое на заказ клетчатое пышное платье. Уже идя по улице, я поняла, что выгляжу в нем как сумасшедшая. Больше я его ни разу не надела — и все свои вещи тоже» (Julia Krakovsky). «Вестиментарная неадекватность», несоответствие собственного костюма требованиям момента переживается большинством людей, попавших в такую ситуацию, насколько можно судить, исключительно болезненно и может вызывать острые негативные реакции, — вплоть до физической боли (Горалик 2012). Увы, именно с переживанием собственной «вестиментарной неадекватности» предстояло столкнуться весьма значительному числу позднесоветских эмигрантов по прибытии в новую социальную среду. По указанным выше (см. раздел «„Ах, мне бы понимать свою прекрасность!“: персональные свидетельства и их эмоциональная окраска») причинам тщательно собранный для жизни в эмиграции «западный» гардероб оказывался в значительной мере непригодным для этой жизни, и наиболее интересной здесь кажется попытка последовательно рассмотреть некоторые примеры механизмов, которые приводили к ощущению (часто понимаемому как осознание) этой непригодности.

Пример 1. Гендерные коды в costume. Подчеркнутая гендерная архаичность позднесоветского повседневного костюма — и в первую очередь излишняя фемининность и/или сексуализированность костюма женского — зачастую неверно интерпретировалась на новом месте. В зависимости от того, как эта фемининность в costume проявлялась, костюм мог читаться как старомодно-консервативный (юбки в пол и платья-макси) или как непристойно-вызывающий⁷, — но, так или иначе, как выбивающийся за рамки нормального, как трансгрессивный поневоле.

Пример 2. Этнико-групповые коды в costume. «В Израиле модняк тогда ценил джинсы Levis, надорванные снизу, чтоб создавался эффект „клевш“, и огромные, на выпуск, футболки до колен. И они ржали над „русим масрихим“⁸, которые непременно заправляли футболку/рубашку в джинсы, „чтоб фирма видна была“» (Victor Gur)⁹. Об этом, очень важном, на мой взгляд, феномене говорят очень многие респонденты: костюм выдавал в эмигранте эмигранта, и далеко

не всякий эмигрант был готов (и желал) не только открыто, но и, таким образом, подчеркнуто демонстрировать через вестиментарные высказывания эту составляющую своей идентичности. «Родственник мужа сказал, что в Израиле принято носить шорты, и привез бесконечного размера отрез ткани. Мы все пошли к одной и той же портнихе, и она нашла нам одинаковых шорт ко дню отъезда. Такие, телесного цвета, пионерские, чуть выше колена. <...> Шорты сняла и выбросила через неделю [после приезда], когда дошло, что не обязана, не удобно, не мое. Да, и как только избавилась от шорт, избавилась от малышни, орущей вслед: „Русия!“¹⁰ Теперь они подходили и, не вынимая пальца из носа, уважительно спрашивали, не „полая“¹¹ ли я. Юбка-брюки не подвела» (Rimma Rivka Rubin).

Пример 3. Ситуационные коды в костюме. «Мужские костюмы. Висели в шкафу лет десять, пока мы их не выбросили. И мужская обувь — туфли. Тоже все ушло в мусорку» (Елена Айзикович). В значительном количестве ситуаций (в том числе — в ситуациях, тщательно смоделированных при сборе гардероба в воображении будущих эмигрантов, — см. раздел «„Не ту мы женщину одевали“: вестиментарные ожидания от новой реальности и подготовка гардероба к эмиграции») вестиментарные коды оказались иными, нежели представлялось моим респондентам. Самым ярким примером стало, по признанию многих, несовпадение с реальностью самых безопасных вестиментарных ожиданий, — ожиданий о том, в чем принято и придется ходить на работу. Здесь действительно — за очень редкими исключениями, связанными, по всей видимости, с причинами, о которых речь пойдет в следующем разделе, — оказались не к месту костюмы, — и мужские, и модные в тот период женские, и женские пиджаки, и «приличная» обувь, и строгие рубашки (те самые, с пуговицами!), входившие в гардероб обоих ведущих гендеров. Эти предметы гардероба, особенно используемые в изобильных сочетаниях, могли не просто маркировать сотрудников как эмигрантов, но и ставить под вопрос современность и полноту их знаний в стремительно меняющемся мире: «Ты был не просто „совок“, ты был отсталый „совок“ в своем коричневом костюме, и я вдруг понял, что в разговорах мне пытаются объяснять очевидные вещи по работе. Я на второй день работы запихнул его (костюм. — *Прим. авт.*) с трудом в мусоропровод и купил на уличном развале две черных футболки и пару джинсов за десять долларов, и дела стали нормально идти» (Igor A.).

В этих примерах (список которых ни в коем случае не претендует на полноту) можно, при желании, отчетливо увидеть, что «вестимен-

тарная неадекватность» не просто интуитивно считывалась эмигрантами из числа моих респондентов, — она нередко так или иначе напрямую транслировалась представителями внешней среды. Неудивительно, что связанные с этим переживания зачастую были мучительными и требовали выработки копинг-стратегий, помогавших пережить и — если человек был в этом заинтересован — изменить ситуацию. Однако прежде, чем перейти к разговору о копинговых стратегиях (см. раздел «„Освободиться для новых опытов“: копинг-стратегии в ситуации вестиментарной уязвимости»), мне хотелось бы рассмотреть причины, вызывавшие столь значительный разрыв между той вестиментарной реальностью, которую ожидали увидеть многие будущие эмигранты из позднего СССР, и той вестиментарной реальностью, в которой они действительно оказались.

VI. Through the Iron Looking Glass:

возможные причины разрыва между
«вестиментарными ожиданиями»
и «вестиментарной реальностью»
позднесоветской эмиграции

Что, собственно, порождало несоответствие между вестиментарным миром, к которому готовились эмигранты из СССР, и тем, с которым они столкнулись, когда наконец пробрались «сквозь железное зеркало»? Мне видится, что речь идет, в первую очередь, о четырех причинах.

Первая причина опознается относительно легко: как уже было сказано, воображаемая реальность оказалась воображаемой. Женщины-врачи не носили мини-юбки из кожи питона под белыми халатами — люди в повседневной жизни в Израиле, США или Германии не одевались, как в мыльной опере «Династия», — особенно молодежь, но и их родители тоже. «Западная мода», которую мы опосредованно наблюдали за железным занавесом в период издыхания Советского Союза, вероятно, была столь же кинематографична, сколь и преувеличена, — как плечики наших богатых люреksom «американских» свитеров, произведенных в Турции и купленных на знаменитой одесской Староконке.

Вторая причина несоответствия гардероба советских иммигрантов новой реальности, на мой взгляд, менее очевидна. Я бы предложила подумать о том, что в странах, где многие из нас оказались, социальная роль одежды в целом отличалась от той, которую она играла

в позднем Советском Союзе. Я бы осмелилась повторить, что в рассматриваемый период (и, вероятно, не только тогда) СССР был местом, где удельный вес гардероба в построении социальной идентичности был чрезвычайно высок, поскольку в обществе так называемого всеобщего равенства символический язык неравенства и статуса был, на самом деле, чрезвычайно детализирован. Это был не язык брендов и цен, а язык множества незаметных переменных, и наш наряд играл огромную роль в уравнении.

Говоря о третьей причине, необходимо добавить к вышеперечисленному уравнению очень важный фактор: «прогрессивное» советское общество во многих отношениях было архаичным по сравнению с новыми обществами, куда попали наши эмигранты; чем архаичнее общество, тем более очевидны способы, которыми символы вашего статуса буквально носились на наших плечах и рисовались на наших лицах. В то время как большинству подростков в Оклахоме не требовалось, чтобы их школьная одежда была сшита на заказ, чтобы выглядеть «прилично»¹², их сверстникам из Владивостока это иногда было необходимо. Даже очевидный советский дефицит — неспособность купить те вещи, которые вы хотели и должны были носить, чтобы чувствовать себя «прилично» (или, напротив, «неприлично»), — не мог объяснить огромное символическое значение модной одежды после начала перестройки и количество усилий и ресурсов (при их наличии), часто вкладываемых в гардероб.

И наконец, я хотела бы упомянуть причину, которая, вероятно, является самой важной, самой неочевидной для многих моих респондентов и, следовательно, самой легкой для игнорирования, насколько я понимаю. Она почти не имеет отношения к покупке, транспортировке или ношению одежды и имеет прямое отношение к социальным статусам и социальным структурам в позднесоветском обществе. Представим себе следующую картину: отец-хирург и мать — научный сотрудник с единственным ребенком живут в Чикаго. Какова их жизнь? Что они носят на работу? Как одеваются в свободное время? Каковы вестиментарные стратегии их дочери-подростка? Что бы нам ни подсказало наше воображение, это определенно не та ситуация, в которой оказалась типичная семья хирурга и научного сотрудника из СССР в Чикаго в 1988–1991 годах. Из-за специфики политической ситуации большинство советских эмигрантов в тот момент составляли семьи, где все взрослые имели академические степени или учились для их получения. Это определенно не означало, что они в каком-либо отношении принадлежали к финансовой элите СССР, — но это означало, что они в основном чувствовали себя людьми, которые

заслуживали права быть одетыми «прилично». Более того, по словам моих респондентов, когда они наконец получили деньги, необходимые для обновления гардероба перед эмиграцией, они часто ощущали, что, наконец, могут одеваться «как заслуживают» в соответствии со своим социальным и интеллектуальным статусом (см.: «„Состоятельная модница“: предотъездное бытование „эмиграционного“ гардероба»). Однако после эмиграции переход этих семей вниз по социальной лестнице оказывался в подавляющем большинстве случаев радикальным, — по крайней мере, в начальный период. Это часто означало необходимость заниматься неквалифицированной работой, долгие периоды безработицы или существование на пособия, и это определенно означало полное исключение из жизни тех местных социальных слоев, к которым наши респонденты и их семьи должны были принадлежать с профессиональной точки зрения, — слоев, где люди часто уделяли большое внимание (и большие ресурсы) своему гардеробу. Иными словами, проблема несоответствия вестиментарных ожиданий эмигрантов новой вестиментарной реальности могла заключаться не в разнице между двумя модами в двух мирах; она могла быть, как ни болезненно это признавать, в разнице между социальными слоями, в которых протекали жизни этих людей до и после эмиграции. Эта тема очень часто рассматривается применительно к эмигрантам из самых разных стран в самые разные периоды, — но, по ряду причин, обсуждение которых выходит за пределы данного эссе, к сожалению, редко обсуждается применительно к эмигрантам из позднего СССР.

VII. «Освободиться для новых опытов»:

копинг-стратегии в ситуации вестиментарной уязвимости

Отношение новоиспеченных эмигрантов к тому, что воспринималось как местная мода и местный повседневный костюм, можно представлять себе, на мой взгляд, в виде кривой нормального распределения. На одном ее конце можно было бы разместить полное и радостное принятие («Местная мода мне очень понравилась, и я рада была освободиться для новых опытов» (Anna Talisman)), на другом конце — полное сознательное отторжение вкупе с решением жестко зафиксировать и сохранить свои вестиментарные практики из прошлой жизни («И сейчас, 34 года спустя, я предпочитаю одеваться во многом так, как в 1988 году в СССР. В Израиле я всегда останусь русским,

как бы ни одевался. Когда приезжаю в Россию, выгляжу гостем из прошлого, и мне это даже нравится» (Evgeny Ozerov)). Остальная же часть этой кривой отражала бы огромный спектр осознанных и неосознанных практик, позволявших эмигрантам микшировать свои костюмные привычки и установки из прошлой жизни с привычками и установками, принятыми и используемыми в стране переезда. Так рождались новые, компромиссные вестиментарные практики, которые позволяли эмигрантам этого периода в какой-то мере сочетать эмоциональный комфорт привычного, с одной стороны, и относительную безопасность принятого, с другой: «Я никогда не научилась носить с утра до ночи футболку с велосипедными шортами, но привыкнуть к тому, что есть просто разные футболки на разные случаи жизни, я смогла отлично, и теперь у меня есть футболки в супермаркет сходить и футболки парадные, и джинсы есть парадные и есть ребенка из школы забрать» (Иппа).

Рассказывая о том, как складывались эти новые компромиссные практики, респонденты говорят о копинговых стратегиях первого, переходного периода, продолжительность которого была у каждого, судя по всему, очень индивидуальной. Разнообразие этих стратегий, естественно, очень велико, — по сути, они исчисляются количеством эмигрантов из позднего СССР, — но их можно попытаться кластеризовать по некоторым объединяющим принципам.

Так, например, представляется возможным упоминать в качестве одной из разновидностей копинговых стратегий «радикальное отторжение» местной моды, упомянутое выше (в начале этого эссе — в качестве стратегии, примененной самим автором, и потом — в качестве стратегии, выбранной и до сих пор поддерживаемой респондентом, подписанным Evgeny Ozerov). В рамках стратегии радикального отторжения эмигрант продолжал носить свой новый «эмиграционный гардероб». Возможно, это делалось среди прочего из желания продлить период «предотъездного шика» и сохранить связанное с ним значимое самоощущение (см.: «„Состоятельная модница“: предотъездное бытование „эмиграционного“ гардероба») или из нежелания прилагать значительные усилия, в том числе — эмоциональные, для вестиментарной интеграции — то есть для встраивания в бытующую на новом месте систему моды («мне было унижительно переодеваться, чтобы слиться с этой толпой одинаковых манекенов!» (I.)) или из соображений эстетического порядка («и, господи, как же невыносимо скучно они одевались в свой вечный деним с трикотажем!..» (I.)).

В качестве другой (тоже упоминавшейся выше) радикальной копинговой стратегии можно назвать полное принятие местной моды и однозначное решение соответствовать ей настолько точно. («Высшей похвалой для меня было, когда со мной на улице или в очереди заговаривали на иврите. Это означало, что я не одета и не выгляжу как „русия“¹³, а это, поверьте, было очень непросто, нас вычисляли с трех метров и вычисляли до сих пор. Для начала это значило перестать постоянно краситься! Вот это было страшно тяжело, я помню...» (L)) Эта стратегия была тяжелой тем, что требовала, с одной стороны, некоторого вложения ресурсов (финансовых — или связанных с ручной работой), но вдобавок — что гораздо важнее — тем, что, как хорошо иллюстрирует фраза процитированной выше респондентки, — она требовала отказа от накопленных в течение всей предыдущей жизни вестиментарных практик, многие из которых были связаны с идентичностью, телесностью, гендерным самоопределением, групповой субъектностью — и так далее.

Примером третьей стратегии может послужить частичный отказ от конкретной практики, и многие респондентки упоминают в качестве такой практики окрашивание волос в светлые цвета. Особенно распространенной эта тенденция стала в Израиле, где эмигранток из бывшего СССР, имевших светлые волосы, сексуально объективировали: «Я оказалась, разумеется, „русия блондинит зона“¹⁴, и очень быстро не просто перестала осветлять волосы, но и начала краситься в темный каштан. Мини-юбки пошли в мусор — впрочем, нет, я к двум джинсовым, помню, попришивала длинные полосы ткани... Но не носила все равно, боялась приставаний просто потому, что в юбке» (Марина). Другой сходной «практикой единичного отказа» стал именно отказ от юбок: «Верх я почти весь все-таки носила, а „низ“ заменила разными джинсами, — наши моднящие юбки, сшитые нам с мамой портнихой по „Бурде“, в США оказались нелепыми» (Irina B.). Еще одним примером может служить отказ от юбок, но уже в Израиле и по совершенно другим причинам: «Короткую юбку не наденешь — лезут, а в длинных ходили только религиозные, а в шестнадцать лет тебе не надо, чтобы тебя за религиозную принимали» (Иннакаа). Такая стратегия воспринималась респондентками (и респондентами, отказывавшимися, например, от «приличной» обуви в пользу кед и кроссовок в любой ситуации) как торг: уступка местной моде позволяла сохранять дорогие сердцу вестиментарные привычки — и дорогой им во всех смыслах предостыдный гардероб.

Наконец, в качестве четвертой копинговой стратегии можно назвать «микширование» гардероба, попытку составить вестиментарные высказывания из «своих» вещей и «их» вещей. «Научиться носить футболки в любой ситуации было очень тяжело, мне все время казалось, что в гости вечером это неуважительно, например, и я нервничал, пока не убеждался, что малознакомые хозяева тоже в футболках и джинсах. Джинсы с шелковыми рубашками просто казались мне дикими. Я все делал неправильно: я носил футболки с брюками и выглядел, наверное, как посмешище. Но я учился» (Timur Tamerlannn). Как мы видим, иногда эти попытки приносили сильный дискомфорт, но в целом позволяли рано или поздно найти компромиссное психологическое решение.

* * *

Напоследок хотелось бы сказать, что я стараюсь помнить: тема, к которой данное эссе едва прикасается и которую я бы определила как «специфика костюма российской и советской эмиграции XX — начала XXI века», огромна и требует, как мне кажется, подробного и всестороннего изучения по крайней мере в трех аспектах (в рамках и аналитического, и компаративного подходов):

- пространство миграций из других стран в схожих и несхожих обстоятельствах, включая обстоятельства вынужденной эмиграции и беженства;
- пространство эмиграции из Российской империи в XIX веке;
- пространства массовых внутренних миграций и переселений, в первую очередь — насильственных.

Иными словами, я буду счастлива, если мои коллеги разделят мой энтузиазм к теме вестиментарной ситуации тех, кто по той или иной причине покидал и покидает свои дома, чтобы начать новую жизнь в определенно непростых, а порой и трагических обстоятельствах.

Литература

Бастер 2009 — Бастер М. Хулиганы 80. М.: Клуб 36'6, 2009.

Горалик 2007 — Горалик Л. Антресоли памяти: воспоминания о костюме 1990 года // Новое литературное обозрение. 2007. № 2.

Горалик 2012 — Горалик Л. «Стыдно, как во сне». Адекватность костюма: субъективная тревога и поиск объективных факторов // Теория моды: одежда, тело, культура. 2012. № 23.

Руководства 1987–1989 — Руководства для выезжающих на ПМЖ, 1987–1989. jdoc.org.il/items/show/1895 (по состоянию на 07.06.2024).

Примечания

1. Все использованные цитаты прошли минимальную корректуру, но в смысловом и структурном плане не редактировались.
2. Мне кажется, что слово «приличный» в позднесоветском языке, применяемое к предметам гардероба в частности и к облику в целом, требует отдельного разговора и заслуживает отдельного исследования.
3. Я использую здесь этот оборот, чтобы обозначить тех, кто в 1988 г. получил возможность выезда из Советского Союза «по еврейской линии» благодаря ряду факторов, среди которых, разумеется, не последнюю роль играет восстановление консульских отношений между СССР и Израилем летом 1987 г. Разумеется, я намеренно оставляю за скобками крайне сложный разговор о национальном составе, этнической идентичности и многих других, близких к этим, важных вопросах, которым не место в данном эссе. Однако не упомянуть эту тему совсем было невозможно — Израиль впечатляюще часто фигурирует как в этом тексте, так и в воспоминаниях и свидетельствах моих респондентов.
4. Возможно, стоит отметить, что вплоть до 1991 г. при выезде на постоянное место жительства советских граждан лишали гражданства (см.: novayagazeta.ru/articles/2016/06/20/68974-konfiskovannoe-grazhdanstvo).
5. Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации Тверским районным судом 22 марта 2022 г. по основаниям осуществления экстремистской деятельности. (*Прим. ред.*)
6. Ср.: «Моя „приезжая“ одежда не была так уж доступна в Союзе и считалась очень дефицитной. И вдруг оказалось, что это просто то, что у меня есть — нет другого. Первые работы были связаны с уборками. Так вот, тот самый факт, что приходила на эти уборки я в своих „нарядах“, просто убивал меня» (Анна Talisman).
7. «После приезда первое, что оказалось, — молодежь вообще не так одевалась, а мой вполне приличный вид „модной студентки“ для одесского института располагал к сексуальным домогательствам. Впрочем, в Израиле 90-х все что хочешь располагало к сексуальным домогательствам — ну а мой вид в короткой кожаной куртке и короткой джинсовой юбке, лосинах да сапогах и в ярком свитере и леопардовом платке — просто пчелы на мед» (Анна Talisman).
8. «Вонючими русскими» (иврит).

9. Автору хотелось бы поспорить с этой интерпретацией причин для заправки футболок и рубашек в джинсы и брюки советскими эмигрантами, но, как ей кажется, для этого требуется отдельный, пусть и небольшой, разговор.
10. «Русская» (иврит).
11. «Полька» (иврит).
12. Мне кажется, что выражение «прилично» в русскоязычной среде применительно к вестиментарной сфере заслуживает отдельного исследования, и исследование это может быть очень интересным.
13. «Русская» (иврит).
14. «Русская блондинка — проститутка» (иврит).